

Лена Элтанг

ЦАРЬ ВЕЛЕЛ ТЕБЯ ПОВЕСИТЬ

р о м а н

Москва, 2024

альпина
ПРОЗА

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-444
Э5

Редактор Владимир Коровов

Элтанг Л.

Э51 Царь велел тебя повесить : [роман] / Лена Элтанг. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 438 с.

ISBN 978-5-00139-991-9

Мир полон воображаемых вещей и людей, говорит один из героев этой книги, у некоторых даже за гробом хмуро идут воображаемые друзья. В сущности, все, что у нас есть, говорит другой, это вещи на грани подарка и одолжения, и то, что мы считаем своим, — телесную силу, любовь или, скажем, мирное время — забирают у нас безо всяких церемоний, просто снимают со стен, оставляя гвозди и невыцветшие квадраты обоев.

Начинающий режиссер, задумавший дерзкий, разрушительный фильм, и русский писатель, попавший за убийство в тюрьму, встретятся спустя много лет и поймут, что прошлое забыть невозможно, как невозможно избыть содеянное зло. Что корни войны уходят в почву страха, но память — это чернозем, плодородный гумус, без него дерево войны не вырастет так быстро, не раскинет ветви так широко. Что способность любить может стать крепостью, а умение прощать — оружием.

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-444

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru.

ISBN 978-5-00139-991-9

© Л. Элтанг, 2017
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Schweinerei.....	9
Глава вторая. Суп усталой лошади.....	66
Глава третья. Тавромахия.....	132
Глава четвертая. Фалалей	198
Глава пятая. Другие барабаны	257
Глава шестая. Похороны трески	316
Глава седьмая. Παράνοια	381

*Вообразите себе общество, состоящее из таких людей, что
каждый любит только одного себя, а других только в той
мере, насколько они с ним составляют одно, — и увидите,
что любовь их та же, что между ворами...*

СВЕДЕНБОРГ*

* Перевод А.Н. Аксакова.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

SCHWEINEREI

КОСТАС

Утром я впервые в жизни побрился ножом у ручья. Давно хотел это сделать. Вода была родниковая, ледяная, но я выкупался, натянул свитер и выпил кофе из маленького красного термоса, который сунул мне в руки хозяин кафе «Канто», когда я сказал, что ударяюсь в бега. Встретив его недоверчивый взгляд, я добавил, что он может взять себе дверные ручки, уцелевшие при пожаре, каминные решетки и все, что найдет там полезного. Если поймают, накинута еще год к твоим четырем, сказал хозяин кафе, а то и три.

Я думал об этом, стоя на обочине шоссе E1, еще не просохшего от ночного дождя. Если поймают, то выйду я нескоро, на европейских купюрах будет нарисован кто-то другой, может статься, самой Европы уже не будет, и вполне вероятно, что не будет бумажных денег вообще. Я не так долго сидел, чтобы запаршиветь, но успел пропитаться сырым тюремным отчаянием, придется просушить его в дороге, на апрельском ветру.

Все беглецы попадают рано или поздно, если хотят сообщить о себе друзьям или семье. У меня нет ни друзей, ни семьи, думал я, поднимая большой палец и улыбаясь водителям, так что я не попадусь. В семь часов меня подобрал грузовик, направляв-

шийся на север, так что я сошел возле Карвалеяры, когда солнце еще не достигло зенита. До испанской границы оставалось полдня пути.

Я нашел укромное место за кустами можжевельника, собрал ветки и развел небольшой костер, чувствуя себя солдатом, отбившимся от роты в глухом лесу, нет, скорее — новобранцем, проснувшимся на опустевшем биваке, где еще не успела остыть зола. Недоумение, которое поселилось во мне зимой, все еще холодило мне ребра, но страх и тревожность меня покинули. С тех пор, как я увидел обгорелые стропила и почуял запах погубленного жилища и жирной земли. С тех пор, как во мне поселилась ярость.

Согревшись, я выложил все, что было в карманах, на траву и перебрал свое имущество. Что у меня в дорожной сумке, я и так знал: две рубашки, компьютер, бритвенный помазок, футболка с надписью «Azuis e Brancos» и фаянсовая кукольная голова. Когда за мной пришли, сестра набила сумку чем попало, хотя торопиться было некуда, полицейские спокойно ждали, когда я буду готов.

В карманах обнаружился паспорт убитого друга, две сотенные купюры, спички, разбитый телефон и нож, который я присвоил вчера на кухне мотеля.

В Лиссабон я больше не вернусь, а бежать лучше всего налегке. Вот сидеть — другое дело. В камере каждая вещь, карандаш или обмылок, становится знаком, подтверждающим существование свободы. Пачка оберточной бумаги, на которой я писал в сетубальской тюрьме, была украдена, когда соседям по камере передали рассыпной табак. Все свое носи с собой!

За зиму я многое понял про тюремную жизнь. Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Не переставай говорить вслух, а то забудешь, кто ты такой. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление.

* * *

Когда они пришли за мной в первый раз, все произошло как в фильме братьев Люмьер: быстро, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне в лицо, я задыхался, наглотавшись угольной пыли, а статисты прохаживались по квартире, будто носильщики по перрону. Я ждал их уже давно, и вот они пришли.

Полицейских было четверо: трое разбрелись по дому, а инспектор постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная Байша со стаканом молока.

— Константин Кайрис? Я инспектор полиции. Одевайтесь.

Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне. Сначала мы долго молчали: он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я слушал, как полицейские швыряют на пол книги и скрипят дверцами платяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол пакетик с травой и грубо оторванную видеокамеру. Инспектор нахмурился и одним глотком допил молоко.

— Кино снимаете, Кайрис?

В столовой раздался обиженный звон. Похоже, там уронили музыкальную шкатулку с грифонами, жаль, что я ее вовремя не продал. Через минуту зашел сержант с плотно набитым конвертом, который я вчера приготовил для посредника.

Инспектор поставил портфель под стол, разложил бумаги и достал карандаш, движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенко. Потом он заглянул в конверт, присвистнул и, не пересчитывая денег, сунул его в папку, а папку положил в портфель.

— Я должен подписать акт об изъятии? — мой вопрос заставил его поднять глаза. — У вас есть санкция прокурора?

— Бумагу выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует: вскроем полы, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек.

— Ясно.

— Предлагаю вам сдать оружие, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас сегодня заберем, для этого у нас есть основания.

Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. Ясно, что у них появился подозреваемый номер один: сомнительный иностранец, у которого дом набит гаджетами для слежки.

— Я буду сотрудничать.

— У вас имеется армейский пистолет «Savage M1917» с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке?

— Был такой. Он принадлежал хозяину дома, сеньору Браге.

— Вы знаете, что им воспользовались в преступных целях?

— Знаю. Несколько недель назад. Но я не имею к этому отношения.

— То есть вам известно про убийство? Вы употребляете наркотики, Кайрис?

Я услышал тихое фырканье, обернулся и увидел свою служанку Байшу, стоящую в дверях. Уставившись на следователя, она вынимала из волос бумажные бигуди и складывала в карман халата.

— Какое вам дело? Я заявляю протест. Занесите это в протокол.

— В протокол заносятся только процессуальные действия. А также изъятые ценности с точным указанием их количества и стоимости. Протесты сможете обсудить со следователем. Собирайтесь.

— Я могу взять компьютер и телефон?

Инспектор пожал плечами, сунул бумаги в свой портфель, разваливающийся, будто обугленное полено, и окликнул полицейского:

— Что вы там возитесь, сержант? Выводите задержанного.

— Одну минуту, капитан. Тут какое-то устройство в кладовой и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?

— Ничего не трогайте! — Инспектор поставил портфель на пол, поднялся и направился в кладовку. Я соскользнул под стол, дотянулся до папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху.

Байша внимательно смотрела в окно, на затылке у нее сидели две папильотки-лимонницы. Инспектор недовольно гудел за дверью, я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным строем банок из-под теткинго варенья. Банки были пустыми, последнюю мы с Байшей раскупили в четырнадцатом году, это были маленькие зеленые абрикосы.

* * *

Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, наручники надели еще в прихожей, а один из полицейских придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать.

Байша успела повязать мне на шею теплый шарф, и я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, зачем-то пригибая голову рукой, хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост.

Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой с Лилиенталем. Мы искали жокея, который должен был подсказать пару верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опилками закоулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого пони гоняют по кругу вдоль проволочного забора.

Когда жокей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы с нами поздороваться. Я заметил, что он пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что до стойла еще далеко и хозяин требует покорности.

В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе, подумал я, но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощанье:

— Идите, Кайрис. Дальше без меня.

Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, так что я увидел только дорогу, засыпанную гравием, и ступени крыльца. У двери я поднял голову и прочел: *полицейский департамент номер шесть*. И чуть пониже: *касада дос Барбадиньос*.

Странно, что мы ехали так долго, в этом районе мне пришлось бывать у знакомого антиквара, и я ходил сюда пешком, с парой подсвечников под мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. Тогда я только начал распродавать свой дом по кускам и немного стеснялся.

На крыльце сержант вдруг скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок, расправил и ловко надел мне на голову:

— Извини, брат. Такие здесь порядки.

Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. Почему они повезли меня на северо-восток, разве в алфамском участке нет своего отдела убийств? Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. Конспираторы хреновы, начитались про Гуантанамо, сказал я тихо и тут же получил тычок под ребра.

Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в тюрьму на улице Лукишкес, думал я, медленно продвигаясь по коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и предупреждал: лестница, стоять, направо.

Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, стянули с головы мешок, втолкнули в камеру с бетонной скамейкой, сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали, а могли бы неплохо пожить.

Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги; через три тысячи шестьсот шагов мне принесли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на матрасе лицом к стене и закрыл глаза.

Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, мне приходилось спать на антресолях шириной с половину плацкартной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно, спальни там вообще не было, а на антресоли вела шаткая лесенка.

Я долго не мог привыкнуть и часто бился головой о дубовую перекладину потолка. Через две недели мне показалось, что на балке образовалась вмятина. Меня это почему-то обрадовало: те, кто поселится здесь после меня, будут смотреть на вмятину и усмехаться, думая о прежнем постояльце.

Засыпая, они будут думать обо мне — вот что меня тогда волновало, поверить не могу.

* * *

В жизни все — либо предупреждение, либо повод, говорила бабушка Йоле, тогда это казалось мне бессмысленным набором слов. Каким предупреждением был ее последний подарок?

Йоле была прижимиста и всегда заворачивала подарки сама. Однажды, развернув ее пергаментный пакетик, я обнаружил там грубошерстные армейские носки, дырочка на пятке была аккуратно заштопана. Кто бы сказал мне тогда, что за такие носки я бы полгода жизни отдал в этой сырой, как долина тисов, тюрьме?

Повод или предупреждение? Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть за решеткой в районе грузового порта, я бы точно не поверил. Мне было четырнадцать, мы с сестрой стояли на террасе и стреляли из лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан, прямо в шершавую голову лосося.

Агне не знала ни одного литовского слова, хотя у нее было древнее имя и волосы цвета пожухшего сена, еще светлее, чем у моего школьного друга Лютаса. Удивительное дело, вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светловолосые люди, будто стеклянные мотыльки *Palpita vitrealis*.

Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры. И ее матери, которая так смешно писала свое имя — Зое, тоже не видел. В твоей тетке нет ни капли литовской крови, шепнула мне мать, когда мы стояли на балконе алфамского дома, седьмая вода на киселе, странно, что она вообще нас пригласила. Она русская с ног до головы!

Я невольно обернулся и посмотрел на тетку через стеклянную дверь. Голова у нее была маленькой и гладкой, в те времена она заплетала косы и стягивала их в узел, узел лежал на смуглой шее и пушился, будто кокосовый орех. Зое сидела в кресле-качалке, а муж разминал ей ступни, устроившись рядом на полу и совершенно нас не стеснясь.

Тем летом я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел. Сначала мне показалось, что ее лицо сияет дымчатым светом, будто кристалл кварца, но потом я понял, что свет проходит через витражное стекло.

Если бы Фабиу знал, что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере эстонского отеля «Барклай», он бы, наверное, здорово удивился. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу колючую рыбину, а потом за-

сыпать согрешившие части тела горячей золой — так в старину полагалось поступать с прелюбодеем.

Он умер в девяносто восьмом. В этом году в Альпах лавина накрыла группу школьников, в литовской деревне поляк убил девятерых людей и собаку, немецкий поезд врезался в мост, англичане отменили смертную казнь, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсони.

Я читал «Введение в египтологию» и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло из всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от заборов или воровал угольные брикеты, однажды за мной погнался хозяин, кричавший: «Куррат! Куррат!» — я бросил брикеты и побежал — просто чтобы доставить ему удовольствие.

З О Е

Шла Федора по угору, несла лапоть за обору, обора порвалась, кровь унялась. Когда таблетки не помогают, я ложусь в шавасану и вместо мантры читаю это громко и нараспев. Мне грустно думать, что ты застанешь дом в запустении, я знаю, что ты его любил. С тех пор как настоящие хозяева умерли, он тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками. Его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре кое-где показалась кочерыжка: белые стены и ясеновые доски пола.

Иногда я захожу в кабинет и смотрю на письменный стол Фабиу, в два ряда заставленный музыкальными шкатулками. Я думаю о золочении, зазубринах и зубчиках, хотя не уверена, что точно помню пояснения мужа. Механизм приводится в движение стальной пружиной, говорил он, поглаживая австрийскую «August Bartle», на внутренней стороне крышки там был листочек с программой, только Штраус, четыре песенки.

Чем больше пружина, тем дольше играет музыка, говорил Фабиу, поглядывая на меня со значением. Он любил сравнения в духе Джона Клеланда, всякие там *мускусные чары*, мятные неистовства и синее газовое пламя в очах. Наша с ним шкатулка оказалась самой недолговечной, и музыка в ней была предсказуемая, размеренная и плавная: какой-нибудь «Fra Diavolo Cotillon» op. 41.

Пружина лопнула в девяносто восьмом, когда Фабиу повесился перед дверью материнской спальни.

В спальню Лидии я давно не захожу, закрыла ее на ключ сразу после похорон, там, наверное, пыли по колено. Пыль в этом доме не слишком похожа на пыль, она не собирается в серые комочки, а лежит на всех поверхностях ровным слоем, светлая и шелковистая, будто викторианская пудра.

* * *

Косточка, не стесняйся, если будешь голодать, продавай все, что найдешь, и портреты предков, и мейсенские лампы, тут еще надолго хватит!

Сегодня приезжал антиквар, служанка собрала для него чайный сервиз от «Vista Alegre», завернула каждую чашку в газету, полдня просидела над этой коробкой, кряхтя и ругаясь. Я для нее что-то вроде демона-разрушителя, на моей совести падение дома Брага, а она служила им триста лет и три года. Возьми ее к себе, без нее дом проглотит тебя и не поперхнется. Не гони старуху, обещаешь?

Воспоминания как чужие векселя, прочла я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся книжном на улице Элиешу. В горькие дни можешь ими рассчитывать, и пока тебе есть чем платить — ты в силе, у тебя полный рукав козырей. Есть ли у тебя воспоминания, Косточка? Если нет, то пусть у тебя будут мои, засунутые в ребристую железную коробочку с двумя красными кнопками *on* и *off*.

Нет, тут есть еще одна кнопка: пауза. Я только что ее обнаружила. Обычно я говорю с тобой не прерываясь, пока не устану, но тут мне вдруг страшно захотелось есть, я встала, прошла на кухню, держась руками за стену, нашла там принесенный служанкой сверток и развернула коричневую бумагу.

Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне: мы с твоей мамой ездили на озеро, покупали две свежие булки напротив замка и съедали их, глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя, за этим следил с башни замковый сторож; заметив нарушителей, он с грохотом сбегал по винтовой лестнице и принимался ругаться: ах вы змеи, лягушки, или вы

читать не умеете? В литовском языке нет крепких ругательств, это делает его галантным и немного *a moda antiga*.

В служанкином свертке оказался подсохший бисквит и яблоко, я вернулась с ними в кровать и вспомнила, как мы грызли с тобой крекеры в гостинице «Барклай». Вся постель была в крошках. Сначала шел мокрый снег, потом началась метель, и мы провели день в номере, попивая коньяк и слоняясь в стеганых одеялах, как два веселых привидения.

— Однажды, когда вас с Фабиу не было дома, — сказал ты тогда, — я зашел к тебе в спальню и забрался под твое одеяло. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки, я запомнил, как они лежали, и потом разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агне под роялем, вернее под лысым персидским ковром.

— Ты встречался с моей дочерью под роялем?

— И под роялем, и во всех темных углах, где она меня заставляла. Она научила меня целоваться с открытыми глазами. Кстати, твои хваленые ковры были испорчены старой собакой и сыростью. От них воняло, как от клетки с опоссумом.

— Этого не могло быть! — воскликнула я горестно. — Я бы почувяла. Скажи, что ты врешь!

И ты сказал, что тебе стоило.

КОСТАС

— Эти видеокамеры принадлежат вам? — следовательно вертел проводок между пальцами.

Я уже знал, что его фамилия Пруэнса, лицо у него было крупное, холеное, оно показалось мне смутно знакомым, как будто я видел его раньше, но мельком, на улице. В кабинете было не тепло, я сидел на железном стуле и дрожал от холода, а он накинул на плечи твидовое пальто.

— Я уже говорил, что нет. Это собственность Лютаса Раубы. Он собирался снимать кино и оставил у меня часть оборудования.

— То есть вы подтверждаете, что были знакомы с Раубой, гражданином Литвы? — Он нажал кнопку на сером диктофоне.

— Разумеется, с самого детства. Теперь скажите, где я нахожусь. И в чем меня обвиняют?

— Вы находитесь в следственной тюрьме, задержаны по подозрению в убийстве. Адвоката вам на днях предоставит центр помощи иммигрантам. На вашем месте я бы начал сотрудничать со следствием прямо сейчас.

Некоторое время я сидел молча, придумывая, как лучше провести разговор. Начать рассказывать всю правду? Молчать, пока не придет адвокат? Да ладно, у них уже все решено, либретто написано, дирижерская палочка летает сама по себе, и мне остается только представлять себе музыку, вернее, ту особую пустоту оркестровой ямы, где вразнобой звучат какие-то сигналы, то шелест, то жестяные стуки, то виолончельный плеск.

— Вы готовы? — Пруэнса барабанил пальцами по старомодному гаджету, записывающему наше молчание. Точно такой же, только черный, я нашел в теткинном столе, когда разбирал ее бумаги. Когда я включил его, то на несколько минут перестал дышать, как будто оказался под водой с открытыми глазами.

В моем доме полно тайников, он состоит из них, как вселенная из фрактальных уровней, так что я наткнулся на диктофон только весной две тысячи девятого. До этого я держал закрытой комнату, где Зое умерла. Я лег на пыльные простыни, которые ничем не пахли, кроме аптекарской дряни, и стал слушать теткин голос, слабый, ускользящий, то и дело прерываемый кашлем.

Я всегда немного стыдился наших голосов. Наши голоса были словно два пищика в животах у площадных кукол. Мы были одно, а наши речи — другое. За все время, что я провел с ней рядом — в постели, за столиком кафе, на автобусном вокзале, — я ни слова не сказал своим голосом, я то смущался, то наглед, то пыжился, то защищался, я все время был занят. И она тоже.

Черный диктофон, вот чего мне не хватает в этой тюрьме. Когда за мной пришли на руа Ремедиош, я не взял ни одной нужной вещи, так и ушел в пальто и ботинках на босу ногу. Сидя напротив инспектора, я ждал, когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда: «Пришлите дактилоскописта! Я нашел пятна на стенах от мыльной воды и уксуса!»

Но никто не крикнул, меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок, так что, подумав хорошенько, я понял, что *locus delicti* никого не интересует. Я понятия не имел, куда

делась Додо, где скрывается остальная шайка и что надо говорить, чтобы мне здесь поверили.

Стратегема: обмануть императора, чтобы переплыть море. Если мне поверят, я сяду в тюрьму за соучастие и сокрытие улик, если не поверят — сяду за убийство. Для каждой свиньи наступит день ее святого Мартина, как сказал один испанец, побывавший в плену. Мать испанца, добрая донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов. На мою мать надеяться точно не стоит.

* * *

Было время, когда моим лучшим другом был Лютас из флигеля — так его звали во дворе, потому что он жил в деревянной пристройке с печью. А меня звали Косточка, я начисто забыл это прозвище и вспомнил только недавно, когда начал слушать теткинны записи. Приятно, что для кого-то я остался вишневой косточкой, хотя давно уже стал черной костью, твердым и грязным мослом, обглодышем.

В девяносто пятом Лютас провожал меня в Лиссабон: мы сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку. В тот день он принес мне свою кожанку, шоферскую, чтобы я не позорился за границей, а в придачу — горсть эстонских денег, которые он выменял в школе на марки.

Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, чудесно совпадающие по размеру с немецкой мелочью. Во Франкфурте у нас была пересадка, так что я потихоньку обобрал автоматы в зале ожидания, набив карманы сигаретами и пакетами соленого миндаля.

Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел Лютаса, я вообще думал, что красота — это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть.

Когда я увидел Лютаса в первый раз, то подумал, что это девчонка: слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком светлой была кожа, да и волосы были подозрительно чистыми. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, даже зубы в ход пустил. Помирившись, мы совершили справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя бражниками, а он мне — гнездо славки, выложенное конским волосом.

Мы звали друг друга *бичулис*, с литовского это переводится как «приятель», но не только: так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. *Бите* означает «пчела», у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо. После дедовой смерти его дряхлый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, мол, так по традиции положено.

Когда я сказал, что провалился на филфак и поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел разницы между лингвистом и медиевистом. Они с Габией целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом: пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду.

Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валаться на одеяле рядом с Габией, затянутой в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое *χάος* имеет общий корень с глаголом «разевать» — неважно что, девичий рот или пасть звериную.

В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский «виллис», давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме. Мы катались до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками; в корзинках виднелись свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.

В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в чулане, где с потолка спускалась лампочка на сорок ватт. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из grossбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.

Я сел на стул, вырвал из тетради исписанный синими цифрами листок и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел карандаш и принялся искать что-нибудь съестное. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил

на себя тяжелую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся.

— Это кто там шебуршит? — строго спросили за дверью. — Уж не вор ли забрался?

Я узнал голос доктора Крейвиса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, будто ударили ногой по плохо надутomu мячу, дверь открылась, и Крейвис возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.

— Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь?

— Меня мать закрыла. — Я сунул листки с рассказом за пазуху и быстро протиснулся мимо него.

— Закрыла? Дверь-то не заперта! Ишь послушный какой. Я бы давно удрал, будь я на твоём месте.

Ну нет, думал я, сбегаю по лестнице, только не на моём месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе «трабант» и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить мою мать.

* * *

Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или паке-тика семян.

Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я с ходу погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мутной воде у портового причала возле кафе «Алмада». Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком.

Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных жуков на светящемся поле, как у меня отрастают клешни, и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком ухожу на свое придуманное дно. Существоем только я и кириллица, латинские буквы недостаточно поворотливы, они цепляются за язык, будто

гусиное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы, к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок: прижимают крепко, держат неловко, но с пониманием.

На четвертый день меня вызвали к Пруэнсе во второй раз, и я готов был поцеловать ему ботинок за то, чтобы мне вернули компьютер, хотя бы на пару дней.

— Вы признаете свою вину, — произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел: либо у следователя не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед.

Что до меня, то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о Реконкисте, о ценах на бензин, о новом тренере лиссабонской команды. Однако Пруэнса замолчал и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье, а я получил возможность его рассмотреть. Для полицейского он был слишком выразителен: яркие желудевые глаза, выпуклые губы, бритое актерское лицо.

Минут через десять в кабинет вошел человек в синей форме, сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли еще двое, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса.

— Вы поедете на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок? — Пруэнса отхлебнул чаю и улыбнулся.

— Я уже видел ее труп. Я видел, как ее убили, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как тело прятали в мешок для мусора. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал.

— У вас скверный португальский для человека, который живет здесь почти девять лет. Вы имели в виду *его* труп? — Пруэнса был до странности благодушен, и я насторожился.

— Думаю, убитый сам толком не знал, кто он такой. В эскорте такие часто бывают. Скорее всего, это был парень. Я видел настоящий *saralho*, не приклеенный.

— Да он под дурачка косит, — сказал тот, второй. — То у него мужика пристрелили, то бабу!

На нем была свежая рубашка, я почуял запах стирального порошка, когда он толкнул меня на пол вместе со стулом. Я уда-

рился головой о край стола, из носа пошла кровь, стул придавил мне правую руку, я хотел его скинуть, но тот, кто меня толкнул, поставил ногу на перекладину, не давая мне подняться.

На какое-то время я перестал слышать, но потом слух вернулся — болезненным щелчком, похожим на тот, что бывает после слишком быстрой самолетной посадки.

— Значит, вы видели убитого раздетым? — услышал я голос следователя. — Это мы занесем в протокол. Мы знаем, что вы знакомы с жертвой, но не предполагали, что вас связывали отношения такого рода. Ведь связывали?

Я осторожно протянул другую руку к внутреннему карману пальто. Похоже, что очки уцелели, хорошо. Эту оправу я купил еще во времена благоденствия, когда работал в Байру-Алту: золото и сталь, немецкое качество. Вот за что я люблю португальцев — здесь даже бьют не слишком стараясь.

— Каким образом жертва оказалась в вашем доме, в чем была суть конфликта и куда вы спрятали труп? — Пруэнса присел возле меня на корточки. Вблизи его лицо показалось мне старше, все в мелких щербинках, похожих на пороховые отметины.

— О чем мы вообще говорим? Проверьте запись с камеры в моем компьютере, там ясно видно, кто стреляет, это крепко сбитый, коренастый мужчина, и он ниже меня ростом!

Я разглядывал ботинки охранников, лежа на полу и думая об Орсоне Уэллсе. Когда снимали «Гражданина Кейна», режиссер велел пробить яму в цементном полу студии и заставил оператора туда забраться, чтобы люди в решающей сцене выглядели настоящими исполинами.

Я думал о том, приходилось ли Орсону Уэллсу лежать на полу в кабинете следователя. Еще я думал о паучке, который висел на паутинке, которую он начал плести от крышки стола, на котором лежала папка с моим делом, в котором было написано про убийство, которого я не совершал.

— У нас пистолет с твоими отпечатками и твой компьютер, в котором нет никаких записей. — Тот, второй, ткнул меня носком ботинка в бок. — В твоём доме нашли наркоту. Полежи и подумай, у тебя есть пять минут.

Паучок, сидевший в засаде, поймал муху и принялся ловко ее вертеть; муха была большая, янтарная, но и охотник был не про-

мах. Вот тебе и ответ, Костас, думал я, закрывая глаза и слушая, как полицейские обсуждают ночную грозу и состав «Спортинга».

Я знал, что жаловаться некому, более того, я не мог даже разозлиться как следует: я давно не видел людей и страшно по ним соскучился. Да не настроит тебя никакой слух против тех, кому ты доверяешь, говорил мой любимый философ, но он не сказал, что делать, если ты не доверяешь никому.

ЗОЕ

Одиночество — целебная вещь, почти как экстракт болиголова. Моя мать начала лечиться травами, когда отец уехал из Питера и нашел себе литовскую жену, оставив нас в комнате, полученной от его мрачной конторы. Нас оттуда довольно быстро выгнали, и мы жили в маминой мастерской, с огромным окном, заклеенным крест-накрест липкой лентой.

Зимой мама рисовала в смешных пуховых варежках, из которых пальцы торчали наполовину. Летом мы вынимали грязное стекло и мыли его вдвоем, стоя по обе стороны, а потом звали соседа, чтобы вставить эту махину обратно. Окно мастерской выходило на болото, где жила серая цапля. В те времена Токсово было деревней, там жили художники, ходили друг к другу через лес, покупали на станции печенье и молоко.

В Португалии я ни разу не видела серой цапли, зато видела маленькую зеленую квакву. Ты когда-нибудь видел зеленую квакву? Кваква сидит на корнях мангрового дерева и ждет рыбу, просто сидит и ждет. Я так тринадцать лет прожила. Я просто сидела на корнях дерева. И это дерево был Фабиу.

Поверишь ли, он был большим раскидистым деревом, полным странностей и всяческой кривизны. Я провела с ним столько лет, но не знала даже, откуда в доме берутся деньги. После его смерти я искала их по всему дому, чтобы заплатить по счетам, но ничего не нашла, зато счета прибывали и прибывали, будто снежная лавина, наползающая на дом с холма Сан Жоржи.

В завещании говорилось о жемчугах, изумрудах и прочих украшениях Лидии, но они тоже не нашлись, растворились в огромном доме, и сколько мы ни простукивали стены, сколько ни отворачивали медные шары у кроватей, ничего не засияло,

не зазвенело, не посыпалось нам на руки. Я тоже написала завешание, где оставляю эти невидимые, неосязаемые драгоценности своей дочери — за ее невидимую, неосязаемую ко мне любовь.

Жаль, что ты так и не приехал, Косточка. Отвел бы меня на крышу, посадил бы в шезлонг и налил бы коньяку прямо в чайную чашку, как мы делали в Тарту. Потом перелез бы на соседнюю крышу, чтобы сорвать лимон — помнишь это лимонное дерево? — и мы бы вместе глядели окрест себя и слышали бы стук невидимых колес, как будто едем из Петербурга в Москву.

Ты думаешь, я обижена на то, что ты повел себя как бездарный друг, как равнодушный мальчишка? Нет, я не обижена. Раньше мне нужно было кого-то любить, я просто по стенам ходила, будто геккон на охоте, а теперь мне все равно. Так бывает с привычкой фотографировать все, что нравится: сначала чувствуешь себя глупо, оказавшись в чужом городе без камеры, а спустя десять лет даже не вспомнишь о ней, собирая дорожную сумку.

* * *

Сегодня я сумела подняться с постели и долго сидела на подоконнике, глядя на реку, на крыши доков, на огни грузовых и рыбацких суденышек, сгрудившихся в малом порту. Я думала о том, что не успела постигнуть две вещи, которые доступны почти каждому, и теперь уже не успею. Это музыка и бог.

Сколько бы я ни ходила в оперу и на классические концерты, музыка оставалась лишь плавником таинственной рыбы, слабо царапающим мое сознание, я так ясно видела эту рыбу, сияющую в зеленоватой воде, но каждый раз она проносилась мимо, оставляя меня с протянутой в пустоту рукой.

Бог тоже был для меня недоступен. Я признавала его, как лишенные слуха признают скрипичный ключ, нотную линейку и существование Монтеверди. В детстве я никогда не ходила в церковь: возле нашего дома были два храма, в одном располагался музей атеизма, а в другом — картофелехранилище. Даже теперь моя вера основана на боли и желании поскорее умереть, а вовсе не на том, на чем положено. А на чем положено?

Смешно думать, что я разговариваю с тобой, а на самом деле — неизвестно с кем, будто по сломанному телефону. Ты

ведь эту запись можешь и не найти, в таком огромном доме черный диктофон словно иголка в ворохе кружева. Что ж, я умею разговаривать без собеседника. Я ведь рассказывала тебе, как однажды мы застряли с дочерью в Сагреше, в отеле, и я говорила по телефону с фантомом?

В ту осень я крепко поссорилась с Фабиу, взяла ребенка и уехала на юг, понадеявшись на свою подругу. Денег у нас не было, хватило только на гостиницу, подруги дома не оказалось, и мы пили воду из-под крана, от которой ломило зубы, и грызли яблоки, украденные из китайской вазы в холле.

Вечером я вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету, и услышала, что наши пожилые соседи говорят по-английски, они накрывали на своей террасе стол и звенели бокалами. Я стояла там и думала, что на моем месте сделала бы сметливая Лиза, моя мать. Потом я вернулась в комнату, надела красное платье, встала у балконных дверей, сняла телефонную трубку и стала громко говорить с воображаемым собеседником. Я смеялась так ласково и всхлипывала так натурально, что чуть сама не поверила, что на том конце провода кто-то есть.

Не прошло и пяти минут, как соседи постучали в нашу дверь со стороны коридора: раз такое дело, сказали они, ваш багаж пропал, ваши деньги выпали из сумки на пляже, а ваш муж опоздал на самолет, не хотите ли присоединиться к нашему ужину?

КОСТАС

Мой друг Лютас был зимним человеком — довольно бледный от природы, в ноябре он становился перламутровым, будто изнанка морской раковины. Зима была ему к лицу, зимой он был ловким, разговорчивым и полным холодной небрежной силы.

Летом я ни разу не видел его загорелым, даже не представляю, зачем он часами валялся на этом грязном пляже, где песок был похож на остывшую золу. Сказать по правде, летом я видел его редко — они с матерью уезжали на молетский хутор. Там у Лютаса была другая жизнь, я знал о ней по рассказам, и она представлялась мне полной испытаний: мне чудились рваные раны от кастета, кровоподтеки от драки ремнями, яростный футбол в высокой траве и лиловые следы на шее, которые носили напоказ, не прикрывая.

На моем хуторе жизнь была совершенно иной: колодезная вода, от которой ломило зубы, довоенные журналы на чердаке, царапины от терновых кустов. В худшем случае — твердое рельефное пятно от слепня. Я был выше Лютаса на голову, читал на трех языках, носил золотые часы и гордился крепкими икрами велосипедиста, но Габия почему-то хотела его, низкорослого, с волосами цвета кукурузной шелухи и маленьким, темным, подгорелым ртом. Да что Габия, я сам готов был пойти за ним куда угодно, *ползти на окровавленных коленях от Острой Браны до польской границы* — так говорила моя мать, и я знал, что она права.

Узнав о его приезде в Лиссабон, я так засуетился, что сам себя перестал узнавать. Лютас предупредил меня, как настоящий немец, за две недели, и все эти дни я приводил дом в порядок, даже велел служанке вычистить ковры, и она два дня на меня дулась.

Первый вечер был каким-то неловким, бренди быстро кончился, лампа перегорела, мы грызли орехи и черствый хлеб, Лютас сидел в кресле с ногами, смутное белое пятно в сгустившихся сумерках.

От него несло неврастенией, будто сыростью из подвала. Когда он заговорил о вильнюсских знакомых, я посмотрел на него с опаской, мне показалось, сейчас он откроет рот и скажет:

— А вот, кстати, Габия... Какого черта ты там делал, пока меня в городе не было? Не мог себе квартиру снять?

Произнеси он эту фразу, и все поменяется, думал я. От прежней дружбы и так остались одни лохмотья. Но он не произнес.

Он прожил у меня несколько дней, обошел весь дом, даже на чердак забрался, вытер собой всю пыль в спальне Лидии, когда разглядывал ширмы с драконами, спустился в подвал, зачем-то простучал там стены, а в последний день сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться.

* * *

Вильнюс распухает во мне, хотя место ему на дне затянувшейся раны, в капле сукровицы. С каждым днем его становится все больше и больше, он отравляет мои сны, разъедает их беззвучными, яркими, увеличенными, будто в диаскопе, картин-

ками. Флюгер с уснувшими воробьями, похожий на детскую карусель, канавы, полные покорных лягушек, водяные лилии, волчья ягода, черные от сажи сталактиты на горячих подвальных трубах. Хуже того, я вспоминаю то, чего вообще никогда не видел!

Прошлой ночью я видел во сне лейтенанта, гордо входящего в наш дом со смуглой сияющей щукой в руках, метра в полтора рыба, даже не знал, что такие бывают. Этой щукой лейтенант торжествующе бил об стол, а бабушка Йоле смеялась, подбоченясь за его спиной, чешуя залепила ей лицо, но я видел ее острые зубы, похожие на щучьи, и вдруг почувствовал голос крови, хотя смешно говорить об этом, глядя на холодную рыбью слизь.

Моя бабка была не простая рыбка, а железная, остро заточенная, это я с детства знал, а мать пошла в другую ветвь, в арестантскую роту, как говорила Йоле, в сибирских колодников. Проснувшись, я сел на своей скамье, спустил ноги на ледяной пол и внезапно, больно, невыносимо остро — как будто колючим плавником ткнули в горло — понял, что я в тюрьме.

Если мне удастся выкрутиться, вернусь домой и стану жить на озере. Хутор мне отписал двоюродный дед, потому что больше отписывать было некому: я последний мужчина в роду.

Я полюбил этот хутор в тот год, когда на округу напала каштановая чума. Дед пытался с ней бороться, поливая стволы гашеной известью, но каштаны, служившие дому оградой с восточной стороны, начисто облетели еще в середине июля и теперь стояли в ряд, поднимая к небу черные подсыхающие ветки. Тропинка была усыпана раздавленными плодами, некоторые успели покрыться шипастой коркой, но ослабели, упали и лежали в траве, будто зеленые корабли марсиан.

Помню, что обитатели хутора казались мне бестолковыми небожителями, в их владении было все, чего я тогда хотел от жизни, все запретные радости, а они просто жили, и всё: не купались в пруду, не ели дичков, не катались на лошадях, не лазили за малиной к пану Визгирде. Лицо деда я помню смутно, зато помню камышовые дорожки и широкую, как пастбище, кровать. Над изголовьем кровати висел глиняный Христос, раны от гвоздей сочились бесцветной кровью.

Деда похоронили в начале лета, а мне в первый раз купили костюм, слишком теплый и коловшийся изнанкой. Я ходил в нем по деревне, гордился и потел, помню даже запах шевиота, а вот похороны начисто забыл.

Мать говорила, что после похорон я забрался на кровать, встал на подушки и принялся кормить глиняное распятие шоколадом, который мне купили в ларьке возле кладбища. Кормил и приговаривал: «Перкун-отец имел девять сыновей!» Бабушка гневно зашипела в дверях, я обернулся, оступился и полетел вниз с горестным воплем. Глиняный бог уцелел, сказала мать, а тебя то ли в угол поставили, то ли выпороли. Но я не помню ни наказания, ни бога, ни шоколада.

Сегодня я проснулся с мыслью о том, что можно писать, если не с кем поговорить. Эта возможность — другая, одна из тех, что составляют основу грубой холщовой бесконечности, где время — это всего лишь уток, слабая переменная. Там, за тюремной стеной, простираются поля других возможностей, затопленные постоянством воды, — господни поля под паром.

Охранник поддался на мои уговоры и принес карандаш и пачку бумаги, думаю, такую цену за бумагу платили только древние китайцы в те времена, когда ее делали из коконов шелкопряда.

Я держу ее под матрасом, как положено арестанту, а пишу по утрам, пока светло, после трех часов солнце ко мне не заглядывает. Однажды я уже заводил похожий дневник, лет десять тому назад, записывал мысли в блокнот, укладываясь спать в нашей с китаистом комнате, заставленной сосновыми полками. У нас даже между кроватями стояли полки в половину моего роста, так что мы спали в овечьем загоне, сделанном из голубых томов «Путешествия на Запад» и зеленых кирпичей Плутарха.

Поскольку со мной почти ничего не происходит, допросили и забыли, и, судя по тишине в коридоре, ничего не происходит и с остальными арестантами, я буду писать здесь о прошлом. Тому, кто пишет о прошлом, необязательно помнить, как все на самом деле было, ведь он владеет мастихином, которым можно не только смешивать охру с белилами, но и палитру поскрести, почистить лишнее. А если заточить как следует, то и убить, пожалуй, можно.